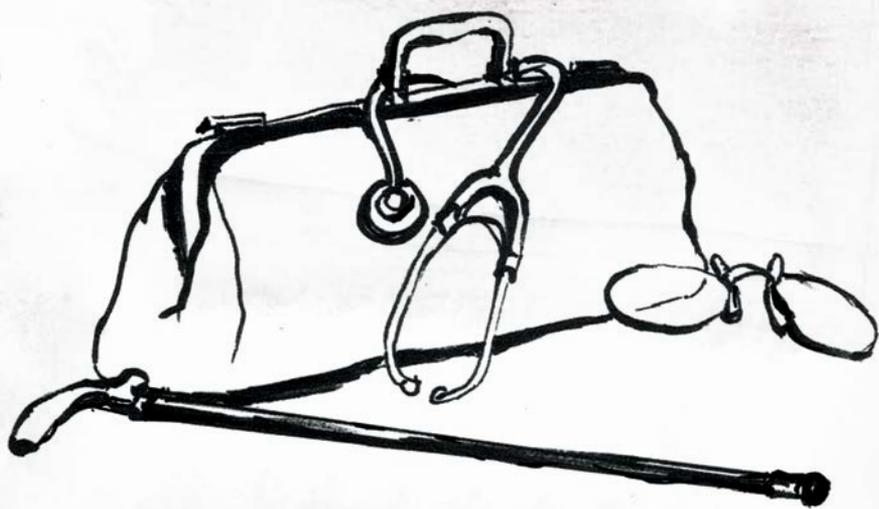


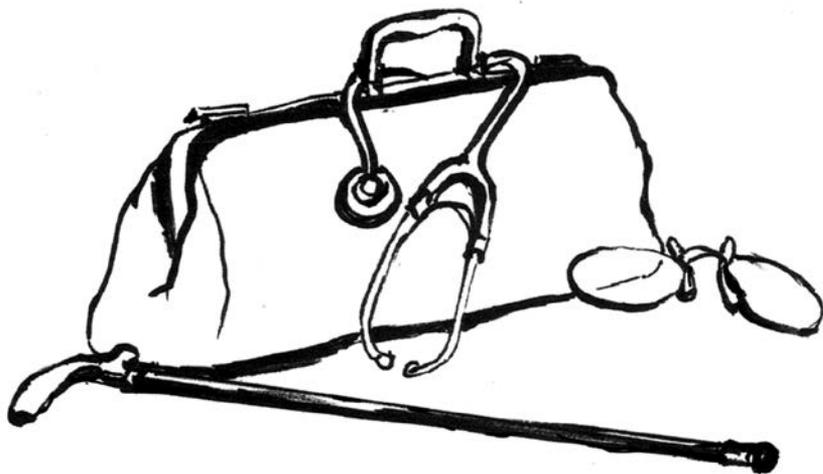
Виктор НОРД



ДОКТОР
Салерлиполей



Виктор НОРД



ДОКТОР
Салерминопейт

БОСТОН • 2024 • BOSTON

Виктор Нора. Доктор Саперлипопет
VICTOR NORD. Doctor Saperlipopette

Copyright © 2024 by Victor Nord

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the copyright holder.

ISBN 978-1-960533555 (pbk)

ISBN 978-1-960533562 (hardcover)

Published by M•GRAPHICS | BOSTON, MA

📄 www.mgraphics-books.com

✉ mgraphics.books@gmail.com

Book Design by M•GRAPHICS © 2024

Cover Design by Larysa Studinskaya © 2024

Printed in the USA

Эта книга — вымысел. Она не годится для использования в качестве хроники. Или даже документальных мемуаров. Главные персонажи изукрашены памятью до неузнаваемости, даты сдвинуты, многие исторические имена и названия переименованы.

За некоторыми исключениями.

Когда история касается реальной личности под ее настоящим именем, автор в поддержку использует либо подлинный, хотя и сокращенный свидетельствующий документ, либо слова из уст самого такого персонажа. Что, конечно, тоже не может служить гарантией достоверности факта.

Используя открытые официальные документы, автор часто их ужимает, комбинирует и перекраивает, однако делает это исключительно в интересах читателя, чтобы облегчить ему путь к смыслу документа сквозь суесловие и суконный стиль казенного языка.

Вымыслы и сокращения совсем не обязательно должны означать ложь.

А что в этих вспышках детской памяти — правда и что — нет, автор предоставляет читателю судить самому.

Автора устраивает любое мнение. Лишь бы вам, читатель, не было скучно.

**Автор выражает признательность многим друзьям
и доброжелателям, без участия которых было бы
немыслимо создание этой книги.**

И прежде всего — **д-ру Александру Бененсону** за меткие литературные замечания, а также неоценимую помощь как эксперта — медика и биолога.

Признательность **Давиду Гаю**, редактору, прощавшему мне постоянно менявшиеся даты окончания книги и хранившему свежесть восприятия до самой последней ее строчки.

Благодарность автору-романисту, историку и журналисту **Семену Резнику** за его интерес и оценку моих работ, выраженные заочно, задолго до личного знакомства.

И конечно же — **Наташе Никитиной**, давнему другу, чей вкус, чувство стиля и любовь к печатному слову служили мне мерилom требовательности к моему труду.

И **Алексу Шехелю**, первому читателю, поверившему в мои возможности русскоязычного автора.

Спасибо издателям **Нелли и Павлу Пикман**, весь год публиковавших в газете «Каскад» эту книгу как «роман с продолжением», за их бережное отношение к тексту.

Благодарю продюсера **M. Sebastian Valand-Artaud**, за терпеливое ожидание французского перевода книги, вопреки всем пандемиям и войнам до сих пор стоящей в планах реализации его компании NEVEN, Inc.

Моей семье — **Лене, Дэвиду и Бенни**, привыкшим к моим бессонным ночам и дневной сонливости и прощавших мое равнодушие ко всему, не относящемуся к моей работе: я обещаю им любовь, безраздельное внимание и глубокий интерес к их делам и переживаниям... до начала следующего проекта.

*Виктор Норд, NY
July 15, 2024*

«Один из них, случайно выживший...»

Константин Левин

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«Мишигене!...».	13
Революция и ее легендарное оружие	28
Доктор и «испанка»	40

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Незабудка... или как это по-русски?	77
Уцелел и на этот раз	99
Погребен заживо.	100
Sub specie aeternitatis.	114
Арахнофобия	130

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Война мышей и лягушек	149
Пурим — до и после	169

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Дни триумфа и торжества.	207
Глава последняя	236

Часть первая

«МИШИГЕНЕ!..»

— Если только я узнаю, — говаривал дед, — если только узнаю, что ты пошел по моим стопам... Я прокляну тебя, клянись, прокляну тебя из могилы! Понял?

Мне было года четыре или чуть меньше.

— Понял, — с привычной готовностью отвечал я. — Я никогда, ни за что не буду врачом. Уж лучше мне быть летчиком. Или водолазом.

— То-то! — хмыкал дед удовлетворенно. — А теперь ложись ко мне на колени — и получать!

Я был ученым: знал, что положено делать. Я забирался к нему на колени и, улегшись на живот, подставлял зад. Была суббота, дед не ходил на дежурство, и по субботам мы с двоюродной сестрой Людочкой должны были получать по заднице за всю неделю. Если успевали достаточно набедокурить — хорошо, если случайно вдруг нет — тогда *авансом*.

Шлепал дед не больно, даже не спускал нам штаны, исключительно в воспитательных целях. При этом приговаривал: — *Нá-нá-нá-нá-нá!* — еще?

— Еще, — привычно просили мы, зная, что за неделю успеем проштрафиться. Он шлепал еще несколько раз, потом решительно говорил: «Будя!» — и мы должны были подходить к его руке и говорить: — Спасибо, дедушка, что ты учишь меня уму-разуму. Таков был заведенный им обычай.

Комментируя этот обычай, бабушка шептала себе под нос, но так, чтобы всем, кому надо, было слышно: — *Мишигене...*

Дед был, что называется, чудаком. Немало знавших его считали, что он слегка выжил из ума. Много позже в Ан-

глии я узнал, что слыть эксцентриком считалось особым шиком среди тамошней снобливой аристократии. Но в Киеве 1949 года это было свойством совсем небезопасным: в стране свирепствовала кампания против всего экстраординарного, выходящего за привычные, общепринятые рамки. Каждый должен был выглядеть и вести себя, как все.

Все необычное в человеке считалось космополитизмом, то есть поклонением буржуазному Западу. Особенно, если человеку при этом выпало на долю быть евреем. Да еще ко всему — и врачом.

Дед происходил из многочисленной еврейской семьи, где из одиннадцати детей семь стали выкрестами. Глава семейства, купец первой гильдии барон Гинзбург, отнесся к этому с безразличием: не его дело, пусть поступают, как вздумается. Всех детей, однако, он отправил получать образование за границей, чтоб не думали ни о каких там процентных нормах. Дед же мой решил оставить свои метрические записи какими были они при рождении: его, поклонника Энциклопедистов, сместила сама идея смены одних *религиозных оков* на другие.

Легче всего ему было говорить, читать и ругаться по-французски. Любил он и сочные украинские выражения, а также популярное в Киеве восклицание *Саперлипопет!*, мало кому известного происхождения. *«По-еврейски»* (на идиш) дед понимал лишь одно слово: «Мишигене». Этому научила его бабушка; родом из местечка Бровары, она была младше деда на двадцать шесть лет; подозревали, что именно своими странностями он и завоевал ее сердце.

Дед же называл ее исключительно ведьмой с Лысой горы, или еще — Бабой-Ягой, но это уже позже, когда у них появились мы, внуки, звавшие ее *бабой*.

Этому была реальная причина. У бабушки, действительно, была странная склонность к колдовству. Она перед сном часто посыпала внуков солью, *чтоб росли*. Если кто-то из нас зевал — требовала, чтоб зевнувший немедленно сплюнул через левое плечо, если чихал — через правое, и при этом

что-то неразборчиво приговаривала. А если детям случилось простудиться — необходимо было каждые два часа поджигать какое-то ароматическое зелье и при этом повторять: «У кошки — боли́, у собаки — боли́, а у Витеньки — не боли́!»

Дед издевался над бабкиными суевериями; он верил в идеи Просветителей, любую религию, слегка перевирая Маркса, называл *опиумом для народов*, и повторял, что в некоем американском городе Сэлем бабке пришлось бы худо от таких же *обскурантов*, как и она сама.

«Хорошо, Мося, хорошо, значит я — обскурант,.. — соглашалась бабка: она не возражала слыть колдуньей. Она ведь не выглядела обычной ведьмой, старой каргой с бородавкой на носу, без зубов и с метлой, чтоб летать на шабаш, о нет!

Бабка была рыжая, молодая и пухлая, как горячий калач; в эпоху советских сиреневых панталон по колено она носила шелковое интригующе черное (выкрашенное ею самою!) белье, подводила брови жженной пробкой, а губы — моим детским карминным карандашом по особому контуру, называвшемуся ею *би-стинг* (*укус пчелы*), в стиле роковой звезды кино *Клары Боу*.

За ней всегда не прочь были приударить дедовы коллеги-врачи, многие куда его моложе — да и немало бывших пациентов деда, любивших его навещать. Дед ревниво ворчал, что все они «ходят кругами, как акулы, клацают зубами и присматриваются, куда бы вцепиться», но ничего не предпринимал, чтобы такие визиты прекратить. Втайне ему, по всей вероятности, льстило, что его белотелая рыжеволосая Баба-Яга пользуется таким успехом.

Совсем забыл упомянуть: дед был невероятно близорук. Про него шутили, что доктор Г. носом стирает собственные рецепты, когда их выписывает. Сколько помню, он всегда носил пенсне на особых *гигиенических* французских пружинках или старые золотые очки, глубоко врезавшиеся в переносицу. Особые стекла — комбинированный близорукий астигматизм, по сфере и цилиндру, различные для правого и левого

глаза, для него специально изготавливали в правительственной лечебнице ЦЛК, впоследствии Лечсанупра. И то оттого только, что и сам он служил там *и.о. заведующего*.

Только много, много позже я начал понимать, отчего дед иногда двусмысленно ухмылялся, упоминая название его службы — *Це-Эл-Ка...*

Чудовищно неумный его характер в сочетании с уже известным нам астигматизмом и вспышками ревности, о которых ниже, сделали деда в моей памяти — и воображении — персонажем множества невероятных историй, и я, если смогу, попытаюсь их рассказать по мере того, как они будут возникать из прошлого.

AD IMPATIENTIAM IMPOTENTIA

(НЕТЕРПЕНИЕ ВЕДЕТ К ИМПОТЕНЦИИ)

Насколько близорук, настолько был дед и ревнив. Можете представить себе такое сочетание. При несносном его характере это было похлеще, чем мужчине быть одновременно и толстым, и лысым коротышкой. Дед же при этом был огромного роста, а ревность его объяснялась лишь знанием непостоянства женской природы: с самой ранней молодости он был не прочь — я чуть было не сказал: побегать, но нет! — приволокнуться за дамами. Бегать по своей близорукости он, конечно, не мог — ходил он осторожно, медленно, с неизменной тросточкой, чтобы не споткнуться на брусчатке крутых киевских улиц. Однако любую привлекательную особу дед тотчас же замечал с любого расстояния, какого бы возраста она ни была.

И никакой астигматизм здесь ему не мешал: дед объяснял это хорошим периферийным зрением, которое якобы компенсировало врожденные дефекты его хрусталиков.

— Там, на скамейке слева, погляди-ка, — бывало, говорил он мне, — аккурётная девочка, а? — Этим странным, им самим изобретенным словом он определял понравившихся ему женщин.

— Да, эта ничего вроде — солидно соглашался я, хотя и не всегда был уверен, о ком идет речь. — Стоит, небось, чтоб выписать ей путевку в *Трускавец*.

— Что? Куда?!

— В Трускавец, в санаторий, — такое название я подслушал у деда на работе, когда приятель его, специалист по женским болезням, соблазнил пациентку:

— ...Сначала, представьте, — сплетничали медсестры, — он выписал ей путевку в Трускавец, затем подъехал туда в санаторий, вроде проверить, как действуют воды, задержался на двое суток, а потом и вообще ушел от жены и двоих детей, а она — от мужа! Но через месяц, представьте, надоели оба друг другу до чертиков, рассорились со скандалом — и оба остались *на бобах*...

— И чего он в ней нашел необычного — недоумевал тогда дед, — это с его-то опытом? Ну, подумались бы *quantum satis* там на водах — и *basta... Merde!* Ругался дед, как уже упоминалось, по-французски, или реже — по-украински.

— Запомни, — обращался он ко мне, подымая вверх длинный указательный палец, — даже самая блестящая дама не может дать больше того, что у нее есть. Особенно — специалисту по женским расстройствам. Это я тебе как интернист говорю.

— Да понял уж, — басом отвечал я, и дед довольно хмыкал: — То-то...

— И вообще, — развивал он свою мысль, — женщина — это исчадие ада! Для тех, разумеется, кто не умеет владеть своими прихотями и капризами. Вот ты, например, скандалил вчера посреди крытого рынка: «Хочу лук со стрелами, купи! Прямо здесь, сию минуту! Хочу! Хочу!» (Дед произносил «хочу!» открыто, окая, с киевским акцентом: *ХОчУ-У!*), а не по-московски: *хА-чЮ*.)

— Такого рода капризы — залог неуспеха у женщин, запомни. *Ad impatientiam impotentia!* Повтори!

— Ад импатиенциам — импотенция! — старательно повторял я, подымая вверх палец и сохраняя его назидательный тон.

— То-то! Только терпение и умение выжидать приносит плоды.

И дед подробно, со всеми деталями, в который раз пересказывал мне студенческий легкомысленный вариант басни Лафонтена о том, как ветер устроил бурю, пытаясь сорвать плащ с дамы, но та лишь плотней в него укутывалась, тогда как солнце своими теплыми лучами заставило ее саму разоблачиться донага.

— А вот в театре публику раздевает тетя, — заметил я. — Люди сами сдают ей пальто за номерок — и потом еще дают рубль на чай.

— *Осла́, саперлипопет!* — сердился дед. — Вырастешь — узнаешь, о чем эта басня. Запомни пока: о том, что криками «хочу!» ничего не добиться! Это — главное, понял?

— Понял — криками не добиться. Но вот ты, дедушка, — на бабушке ты добровольно женился? И мама и дядя Яша — ваши дети? То есть их бабушка тебе родила, так?

— Ну да, разумеется, *merde!*..

— Да, но женился ведь ты на ней, наоборот, оттого что было холодно, а вовсе не оттого, что тепло и лучи, так?

— Что-что?

— Ну, потому что тебе холодно было, а криками ничего не добиться...

— Что-о?

— Ну, оттого что, если б не женился, ты не смог бы залезть к ней под одеяло?

— Что-о?!?!

У деда побагровел нос, слетело пенсне, он остановился, наклонился и стал близоруко шарить палкой по тротуару, пытаясь его найти. Я поднял чудом уцелевшие стекла и подал ему в руки.

— *Merde!*.. Да кто... *Qui a indi...* да кто посмел... кто... сказать тебе такую чушь? — от злости дед чуть не забыл, что со мной следует говорить по-русски. Я испугался малость:

— Кто, кто? Да сын твой, Яша, вот кто!

— Это... это он тебе, тебе такое говорил?!

— Нет, не мне, конечно, а гостям...

— *Trente-six mille cochons!* (Тридцать шесть тысяч свиней!) И что он еще говорил, помнишь? Постарайся припомнить, поточней!

— Как же не помнить? Ну... что ей не было и шестнадцать, когда вы встретились, ты старше был, чуть не в деды ей годился. Он еще говорил, что маму Женю бабушка родила шестнадцати с половиной лет — и за пять минут! А в семнадцать с половиной — его самого, и тоже раньше времени. И что мама еще дразнила дядю Яшу за это: «*Недоношенный, семиме-есячный...*», а он известку грыз со стен, потому что у него не хватало *пальца*.

— Кальция, *merde!* Кальция! У твоего дяди язык, как у двадцатимесячного, его пороть надо! И потом — это враки, удобные семейные мифы! Она сама под столом мне на ногу наступала каждый вечер! И руку жала на прощанье. Запомни: я поймал уже созревший, падавший с дерева плод! Спас ее семью, можно сказать, от сложностей: к ней местный телеграфист уже вовсю льнул — они, как минимум, обнимались там по углам, ясно? Но об этом чтоб — никому. Ни слова. Молчок!

— Да понял уж, — басом ответил я.

— То-то! — проворчал дед, явно удовлетворенный моей сообразительностью.

ДЕПОРТАЦИЯ

Дед, однако, в глубине души прекрасно осознавал причину своей неумной ревливости.

Дело в том, что однажды ему самому предложили в двадцать четыре часа убраться за пределы страны, где он обучался своей профессии. Страной этой была Швейцария, точнее, кантон Во. А обучался там дед медицине и биологии в Университете Лозанны, и был лучшим студентом в своей группе инфекционных заболеваний, то есть был *Major de promotion*.

Курс дед с отличием закончил, степени защитил, оставалось только дожидаться церемонии присуждения обеих степеней: доктора медицины и доктора биологии.

Тем скандальнее было внезапное требование полиции кантона Во, чтобы подданный Российской империи, мещанин вероисповедания иудейского г-н Гинзбург Моисей, сын Эммануила, под страхом ареста и суда немедленно и добровольно покинул свою *alma mater*.

Mater эта, кстати, не только обучала деда медицине, но и полной мерой выгребала плату за каждый день его пребывания там: на лекциях ли, в клубах ли, в студенческих братствах (и чтоб не менее двух!), за проживание-питание, за пользование спортивным инвентарем и даже академической лодкой-одиночкой! Дед при этом плавал плохо, холодное Женевское озеро не любил, и так никогда и не решился сесть в это утлое суденышко со скользвившим по рельсам сиденьем.

Семья деда была известна как весьма состоятельная, поэтому ни о каких льготах и стипендиях даже речи не могло быть. Этой семье обошлось в круглую копеечку отложить депортацию деда вплоть до вручения дипломов, но что было делать? На карту были поставлены семь лет обучения, оплаченные по первой категории в одном из лучших медицинских заведений Европы. Деду в честь успешного окончания курса уже были заказаны отцом именные золотые часы с боем и *репетитором*.

Читателю, конечно, не терпится узнать, чем мог так провиниться российский студент вероисповедания иудейского в Швейцарии начала двадцатого века. Держу пари, ему видится революционная деятельность, подпольные кружки, печатание прокламаций и доставка их контрабандой в Россию. Ничего подобного! Это как раз совершенно не возбранялось. Такая деятельность никоим образом не конфликтовала с тамошними законами в либеральной Швейцарии. Более того, сам дед *политических* недоучек-эмигрантов презирал, считал их бездельниками и *игнорабусами*, упускавшими шанс обучаться бесплатно на стипендию в лучших университетах Европы.

В вину деду вменялось совсем иное: два грубых правонарушения, и оба на основании тайных доносов — жалоб

пострадавших. Первое: познакомившись в парке с одной из юных воспитанниц английского летнего пансиона «*Дочери Достойных Семейств*», родом из города Гульль (он же Халл), дед уговорил пансионерку оставить на ночь открытым окно ее *дормитория*, тайком пробрался туда и провел там шесть ночей подряд. И не только с ней, но и еще с двумя ее соседками, тоже из достойных семейств города Гульль! Самой старшей из них едва исполнилось девятнадцать.

Девушки таскали деду кофе из столовой по утрам, а перед полуденной проповедью, когда все обитательницы пансиона собирались на молитву в рекреационном зале, он, никем не замеченный, безнаказанно покидал место преступления через то же окно, выходящее в английский парк с дикими кустами смородины и густой травой.

Второе нарушение закона было еще более серьезным, хотя и менее опасным для жизни: каждый раз, возвратившись к себе в кампус от пансионеров, дед подвешивал гирию от стенных часов к цепочке душа в ванной! Беспечно транжиря таким образом дорогую фильтрованную воду, что было категорически запрещено, он долго мылся там и распевал во все горло при этом: «*Гаудеамус игитур!*»

Жившие за стеной два мрачных студента-кальвиниста несколько раз извещали деда, что это мешает их полуденной молитве; двое других, атеисты-революционеры, требовали не нарушать по расписанию положенный им дневной сон.

Вотще! Обнаглевший дед был слишком молод, слишком счастлив и доволен собой. Испытания он сдал с наилучшими результатами, до вручения обеих степеней оставался месяц, и традиционные речи уже были выучены им по-латыни наизусть. У него даже был готов и перевод документа на русский, заверенный нотариусом и завершавшийся словами: «...успешно кончил в университете города Лозанны, кантон Во, Швейцария». Так было принято в то время писать и говорить.

На четвертый день его пения в ванной соседи составили на деда донос в администрацию кампуса, жалуюсь на нарушения их гражданских прав на молитву и отдых, а копии от-

правили в русский консулат и полицию кантона Во. Первым откликнулся русский консул: уже на другой день от него пришла к жалобщикам депеша-коммюнике:

«Гнать иноверческих субъектов из города следует в шею: ходатайствуем по каналам дипломатическим об аннулировании Российского паспорта и с тем вида на жительство упомянутого вами лица».

Депешу показали префекту полиции кантона; тот несколько удивился свирепости русского консула, но защищать иностранца не стал, не его это было дело. Жалобу передали выше по начальству, дошло до Федерального Департамента Иностранных дел. Домино стало быстро падать — и дед оказался в беде. Как на грех, за три дня до того пришли заказанные отцом именные часы «от Лонжина» — и именно их дед потерял серым дождливым полднем, в последний раз удирая через окно домой.

По звону в траве часы нашел садовник; честный человек, он, разумеется, отдал их наиболее сообразительной из девушек, тут же заявившей, что принадлежат они ее брату. Вещь вернули владельцу, но русскую надпись с его именем успела заметить наставница пансионеров, старая дева, — и это был конец всему. Воспитанниц после проверки у гинеколога (убедившись в их технически ненарушенной невинности) спешно собрали ночью в дорогу, тайком заказали закрытый экипаж и первым же утренним поездом отправили в Женеву, а оттуда — под присмотром строгого краснорожего пастора — домой, в родной город Гуль, он же Халл, Англия.

Дед еще ухитрился вечером, когда скандал уже разгорался не на шутку, встретиться с одной из девиц напоследок в укромном уголке городского сада, между раковинной оркестра и хорошеньким, увитым плющом домиком уборной — и затащить ее на четверть часа под сцену, пока оркестр над их головой опьянял посетителей сада легкомысленным Оффенбахом. Оба умирали от хохота — так были рады что обманули старую деву, которая терпеливо поджидала воспитанницу на скамейке возле домика, свято веря в ее внезапное несварение желудка.

Девушки пансиона отдавали себе отчет, что ни матримониального, ни даже романтического будущего с их кавалером у них быть не могло: он был российским евреем и агностиком, воспитанницы же — ревностными протестантками, так что прощались они навсегда. Но ни одна из них ничуть не жалела о случившемся: время они провели с дедом — весело, многому научились, да и валять дурака с близоруким, но галантным повесой-медиком было безопасно и необременительно; во всяком случае, куда свободнее, чем с их чванливыми соотечественниками, не приученными к обществу дам, и уж такими... такими уж... зажатými и неумелыми — особенно в обращении с предметами дамского туалета...

Итак, ничего удивительного: поняв, что жажда нравиться и быть желанной не признаёт в женском сердце никаких преград и условностей, дед превратился в циничного и недоверчивого ревнивца.

На всю жизнь он запомнил, что ни догмы англиканской церкви, ни свирепые викторианские правила не в силах будут остановить самую благовоспитанную барышню, если ей придёт в голову провести запретные, но такие сладкие четверть часа в пыли под грязными подмостками с наглым очкастым ловеласом — пока оркестр над головой завораживает душу чувственной до неприличия баркаролой из «Сказок Гофмана».

НЕЛЮБИМАЯ ПРОФЕССИЯ

Дед считался одним из лучших диагностов в Киеве. Тридцать лет он проработал в правительственной клинике *Лечсанупра*. Никаких привилегий ему при этом не полагалось, кроме разве личного телефона в комнате большой коммунальной квартиры, где жили они с бабушкой. К телефону, пока дед был на работе, выстраивалась целая очередь соседей, пользовавшихся бабушкиным дружелюбием и неспособностью отказывать просителям: одной из причин дедовой ревности.

Он не любил свое дело. Объяснял он это тем, что со времен Парацельса все, чему медицина научилась — это только резать! Остальное врачевание как было, так и осталось на уровне интуиции, в потемках, а все — из-за множества шарлатанов, консерваторов и обскурантов в этой профессии. Несмотря на неудовольствие начальства и партийной организации клиники, дед громким и сварливым голосом заявлял в коридорах, что внутренняя диагностика осталась искусством, и никакой наукой не стала, и что игнорамус и в самый сильный микроскоп ни черта не увидит, а если и увидит — не поймет и сделает совершенно абсурдные выводы.

Кстати и некстати он напоминал своим коллегам о том, что заболеваний не существует, а есть только больные!

Многие университетские профессора презирали его за это и за спиной называли ретроградом, воинствующим вульгарным клиницистом. Русское название своей специальности — терапевт — дед тоже не любил, ибо оно ассоциировалось у него с физиотерапией или еще с принятым некогда в Швейцарии названием психиатров.

Степени доктора биологии дед так и не получил — только доктора медицины. Во-первых, у него не хватило на это времени: за немалый штраф власти кантона Во едва согласились на две сверхсрочные недели его пребывания там для церемонии присвоения медицинской степени.

Во-вторых, деду пришлось заново экстерном сдавать экзамены по-русски в Казанском университете: зарубежные научные и медицинские дипломы в Российской империи не признавалась. Пройдя все остальные испытания с отличием, один из экзаменов — местная медицинская терминология — дед по вздорности характера чуть не провалил, поспорив с экзаменатором по какому-то пустяковому поводу.

Стало ясно, что в Казани, с ее процентной нормой, деду — поклоннику идей Монтеские и Дидро, лучше и вовсе не касаться абстрактных наук и философии. Так что пришлось удовлетвориться степенью доктора медицины и позабыть обо всех иных.

В ТРУДНЫЙ ЧАС БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ОТЕЧЕСТВУ

Но главное было даже не в этом. Вскоре разразилась война с Германией и Австрией, и дед, новоиспеченный интернист, подал в Союз Городов прошение быть зачисленным в штат одного из санитарных поездов Союза.

От действительной службы он был освобожден по зрению, так что проходил в качестве *вольнопределяющегося* (то есть добровольца), и об этом даже упомянули в патристической газете.

Приглашение в помощники главврача поезда дед получил от самой княжны Веры Гедройц. Эта, известная на всю Россию первая женщина-хирург заработала свою степень в Лозанне, в той же университетской клинике, что и дед. И профессор у нее был тот же — Сезар Ру, знаменитый хирург. Он-то и обратил внимание княжны на юного ее однокашника, обладавшего необычным даром интуиции в диагностике инфекционных заболеваний.

С присущей ему въедливостью и скрупулезностью дед приступил к своим обязанностям, и через месяц новый поезд был подготовлен к выезду на позиции. Он был экипирован самым современным хирургическим оборудованием, швейцарской оптикой и аппаратом Рентгена, химикатами и материалами для лаборатории, ваннами и даже двумя отдельными кухнями для различного типа желудочных пациентов! В немалых затратах на оборудование приняла участие и семья деда.

Перед отправкой сверкающий огнями поезд показали императрице Александре и она, одетая в форму сестры милосердия, сама благословила его и представила к награде всех, кто его снарядил.

Однако триумф деда длился недолго. В день отъезда на Юго-Западный фронт он явился на вокзал с дорожными чемоданами, чтобы занять место в своем отдельном купе. И тут выяснилось, что на его должность уже назначен другой человек, и даже не полноценный доктор, а *зауряд-врач*, чиновник Военно-Медицинского ведомства.

Он-то и передал деду копию его прошения с резолюцией: «Отказать» за подписью Председателя. И ледяным голосом выразил сожаление из-за негативной резолюции Союза Городов.

Дед разозлился не на шутку. Потрясая серебряной медалью «За усердие», полученной из рук императрицы, он стал кричать, что отказавшие пожалеют о самоволии и требовал разъяснений.

— Более сообщить ничего не могу-с, — сказал чиновник и захлопнул дверцу купе перед носом у деда.

Оставив багаж прямо на вокзале, дед вскочил в северный экспресс и на другое утро был уже в Царском Селе на приеме у княжны Гедройц; отложив все дела, она тут же направилась прямо к Ее Величеству и уже через час вернулась с ответом.

Не давая деду шанса задать вопрос, она брезгливо швырнула на стол пакет с сургучными печатями, с отвращением прошипев: «С-секретно». Дед сдвинул пенсне к самому кончику носа и стал читать тайный приказ:

**«Начальнику Санчасти
армий Юго-Западного фронта:**

...в целях предотвращения анти-патриотической разрушительной пропаганды в войсках... направлять медиков-иудеев отнюдь не в санитарные поезда и тыловые госпитали, но в такие места, где им пропаганда затруднена... как, например, на передовые позиции, для уборки раненых с полей сражений».

— Эпидемии и вши убивают в траншеях больше, чем снаряды! Я инфекционник, таких не хватает. Ослы! При чем тут уборка раненых?!

— Александра не в силах ничего изменить, пока армией командует этот кретин, Великий князь Николай Николаевич. Тот вообще запрещает евреям находиться в зоне воен-

ных действий. Они там *просирают* одну кампанию за другой к *ёбаной* матери, — выругалась княжна и закурила сигару, — а сваливают все на предательство и «жидов».

— И что же прикажете в таком случае делать? — все еще хорохорился дед.

— А вот что: я бы на вашем месте купила револьвер (княжна произносила: «*рэвольвэр*») и пошла на баррикады. Вместе со всем вашим народом: хватит ему рыдать и жаловаться! Чего этой империи действительно не хватает, это не диагностов, а хорошеньких гильотин — для имперских дураков и юдофобов!

Тут даже дед заробел, крякнул свое *merde!* и стал нервно оглядываться. Все же это был лазарет при Дворцовом госпитале, и сестрами там служили великие княжны Татьяна и Ольга, да и сама императрица!

— А, бросьте, вздор! — Гедройц мужским жестом вдавила окурочек в пепельницу и загасила сигару. — Я и сама уберусь отсюда вон при первой оказии. Хоть на фронте отдохну от бабья, от фрейлин, и придворных интриг. Пусть только пикнут! Мне-то эти мерзавцы не посмеют запретить фронтую службу, хоть я и юбку ношу.

Тем и закончилась первая попытка деда оказаться в трудный час полезным отечеству. Она, впрочем, оказалась и последней.

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

Георгия Александровича Куликова все, знавшие его, величали не иначе как *Жорж*. Он был одним из ухажеров моей бабушки еще с далеких времен Второй Пятилетки: Жорж Куликов.

Каким я его знал (гораздо позже, разумеется), Жорж Куликов был отвратительным старикашкой с лягушачьей нижней челюстью, резко сдвинутой вниз и назад, к шее. Бросались в глаза его яркий апоплексический румянец и пара светлых бесстыжих глаз. Он не носил очки и страшно гордился этим. В прошлом он, вероятно, был рыжим, но с тех пор поседел и полысел и потому вечно носил, не снимая, брезентовую кепку с путейскими молоточками а-ля ранний Метрострой. Перед войной он надолго исчез из поля зрения; было известно лишь что он был среди авторов проекта Крымского моста, одного из самых красивых мостов Москвы.

Прошло много лет. Однажды, когда дед шел домой из библиотеки, рядом с ним остановился маленький серый автомобиль. Водитель окликнул деда: «Мося!» Это был Жорж! Он почти не изменился за прошедшие годы, все также лихо водил машину и все также громко разговаривал, слушая, прежде всего, самого себя. Не задавая лишних вопросов, Жорж пригласил деда с женой поужинать у него дома в новой квартире. Дед принял приглашение, и они договорились созвониться на неделе и назначить день встречи.

Выяснилось, что, в отличие от деда, Жорж не был пенсионером. Напротив, он читал в Московском институте стали лекции по сопротивлению материалов; летом выезжал на машине в Крым на отдых, а главное — совсем недавно женился! Новобрачную звали Рахиль, она была ровесницей Жоржа, но тот предпочитал звать ее *Рашель* в честь извест-

ной французской актрисы, и уверял, что, когда он надевает шляпу, а не кепку, — тогда они с женой, можно считать, одного роста.

В назначенный день бабушка была готова уже с утра. Она выкрасила себе волосы при помощи средств с загадочными названиями *Хна и Басма* и стала каштаново-жгучей шатенкой. Дед ворчал: двадцать лет назад ухажер Жорж оказался единственным, кому удалось добиться у бабки некоторого успеха. Воспользовавшись случаем, когда близорукому доктору срочно понадобилось заполнить несколько историй болезни, Жорж подсел за его спиной поближе к бабушке, дождался момента, когда она повернулась к нему в профиль, и звонко чмокнул ее в левую щеку, заставив бабушку покраснеть. Дед ничего не заметил, как думали оба, но оказалось, что он в свои стекла видел отражение происшедшего и отлично слышал звук украденного поцелуя.

Год был тысяча девятьсот тридцать восьмой. В течение последующих лет дед время от времени ворчливо напоминал бабке этот акт супружеской неверности и требовал признать, что если б не он и его влияние, Ведьма закончила бы свои дни в доме свиданий. Бабка не любила спорить, она соглашалась с дедом, но ухажеры в доме не переводились, постепенно переходя в узаконенную категорию *друзей семьи*. Самое главное, что дед, как я уже упоминал, нисколько не препятствовал общению с ними: теперь, по прошествии лет, я уверился, что ему весьма нравился успех его Ведьмы у мужчин. Это давало деду повод считать, что местные донжуаны ему отчаянно завидовали, и ворчать на жену при малейших разногласиях в быту.

Обед был назначен на семь, по телефону заранее заказали такси, но к полудню дед себя неважно почувствовал. Как сейчас помню, он сидел мрачный, в одной жилетке без пиджака в своем кресле у нас дома. Время от времени он измерял свое кровяное давление, после чего повторял, что его рак обнаруживает, наконец, свои симптомы. Чего именно был у него рак, спрашивать запрещалось: он мог обидеться и разозлиться, приняв это за намек на ипохондрию!

Прошли часы, деду не становилось лучше, голова была тяжелой, давление держалось на 187/137; за час до встречи отменили такси и вызвали *неотложку*.

Однако, пока ее ждали, деду неожиданно полегчало, он повеселел, давление снизилось до нормального. И тогда ему пришла в голову идея: они с бабкой привели себя в порядок, прихорошились, а когда прибыли медики, дед попросил их вместо больницы отвести в гости к Жоржу. Он, разумеется, подкрепил просьбу вознаграждением в пятьдесят рублей. Бутылка водки и Каберне для хозяев были приготовлены еще с вечера, а надеть пальто у обоих заняло пять минут.

Так, с включённой сиреной, обгоняя идущий транспорт, старики прибыли по назначенному адресу на *неотложной скорой* даже на десять минут раньше времени.

Жорж, в прошлом выпускник Эколь Политекник (*École Polytechnique*) в Париже, понимал толк в выпивке. Где в Москве в 1959 году ему удалось раздобыть «Наполеон» 1947 года, для гостей навсегда осталось загадкой. Это хотя и не был любимый дедом «Мартель», но все же он был куда лучше популярного в Москве армянского бренди, незаконно носившего звание коньяка.

Обед, состоявший из салата *Нисуаз*, паштета с грибами и лично приготовленных Жоржем медальонов филе со спаржей, завершился парой ароматных сигар «Ромео и Джульетта», недавно прибывших из революционной Гаваны. Бабке Жорж предложил дорогую сигарету «Тройка» с золотым обрезаем.

Рашель не курила. Она сидела неподвижно, с прямой спиной, наводившей на мысли об обезьянстве позвоночника, и старалась изо всех сил удерживать на своем мужском волевом лице любезную улыбку.

После четвертой рюмки «Наполеона» глаза Жоржа замаслились, и он захотел сфотографироваться на память. У его американского «Кодака» был отличный автоспуск, что позволяло сняться вместе всем четверым. Жорж навел аппарат, и тут его озарила новая идея. Он предложил обменять-

ся дамами и так увековечить себя на фото. Пусть Рашель, сказал Жорж, сядет на колени к деду, а Ида — нему: получится смешной снимок. Мужчины возьмут в руки бокалы Каберне — и фото выйдет почти как двойная картина Рембрандта с женой Саскией на коленях.

Рашель такая идея понравилась: она давно уже благоклонно косилась на долговязого доктора, который был на полголовы выше нее ростом, в то время как она была на полголовы выше своего мужа.

Дед, однако, вдруг категорически отказался от этой игровой идеи. Его аргументация была проста, хотя и не вполне деликатна. Костлявая Рашель была на семнадцать лет старше его пухлой Ведьмы, и внешней привлекательностью не блистала: предлагавшийся обмен таким образом, по мнению деда, был не на равных условиях — так что пусть уж каждый остается при своем!

Возникла довольно неловкая пауза. Чтобы как-то ее замять, Жорж со смехом предложил деду толстый альбом с фотографиями своих многочисленных прежних пассий — и выбрать любую, какая придется ему по вкусу. Приняв шутку, дед раскрыл альбом и на второй же странице обратил внимание на пляжный снимок юной красотки в полосатом купальном костюме, державшей над головой спасательный круг. На круге было выведено: «Алушта 1939». Дед налил себе еще Наполеону, крикнул и сказал:

— *Аккуретная* девушка. Такую и в мокром купальнике можно было бы посадить на колени. *Саперлипонет!* а что, если она все еще в Алуште живет — стоило б к ней туда съездить...

Это были его последние слова. Он ухмыльнулся, уселся поудобнее в кресле, бонвивантски небрежно закинув длинную ногу на ногу, допил, не спеша, свою рюмку — и умер.

Бабка привезла домой его пальто: деда забрали в морг прямо из гостей. Диагноз: кровоизлияние в мозг на почве давнего атеросклероза. Никакого рака у него не обнаружилось, даже намек...

У него не было ни единой коронки во рту — в восемьдесят с лишним лет; всегда аккуратно причесанными были слегка поредевшие волосы. «Молодой, красавец, — восхищенно шептала пожилая санитарка морга, явно рассчитывая на щедрые чаевые от родственников персонального пенсионера. Но после всех затрат на переезд в Москву у бабки с дедом не осталось за душой ни гроша — они были нищими даже по советским понятиям, а от помощи детей решительно отказывались, стеснялись. Чаевые, доставшиеся санитарам от нас, были вполне заурядными.

При Донском крематории работал струнный квартет от Общества Слепых. Музыканты за стандартную плату предоставляли скорбящим меню на выбор: две траурные темы по две минуты каждая — в конце второй гроб автоматически опускался куда-то вниз, и за ним закрывались дверцы, как в метро. В этот момент родственникам положено было плакать. Таков был порядок.

Дед оставил короткое завещание и в подарок мне деньги на фотоаппарат — поэтому мне поручили выполнить его последнюю просьбу. Я пошел к музыкантам и спросил руководителя, смогут ли они сыграть баркароллу Оффенбаха из «Сказок Гофмана». Неодобрительно пожевав губами, тот согласился — можно, если, конечно, сыграть тему гораздо медленнее и пианиссимо: обойдется в сто рублей...

Но когда я заказал вторую тему, слепец задрал голову в синих очках и спросил:

— Вы в своем уме? Такого у нас сроду не было и быть не могло! Хотите куска хлеба нас лишить? — На этих словах я достал триста рублей из подаренных дедом денег, но слепой, в момент определив на ощупь достоинство купюр, еще решительнее замотал головой: — Нет, нет и нет!

Я без всякого сожаления распрощался с фотоаппаратом и прибавил еще семь сотенных бумажек. Музыкант слегка коснулся их кончиками пальцев, вздохнул и сказал:

— Но чтоб без претензий потом: я оформлю это как погребальное шествие из «Ромео и Джульетты».

Ударили по рукам, и я присоединился к скорбящим в зале прощания.

Отыграли первые две минуты — не совсем уместную чувственную Баркароллу. Родственники приготовились к рыданиям на второй теме; уже раздавались первые всхлипывания, когда квартет ее начал. Это были энергичные, уже не раз где-то слышанные аккорды! Домработница Шура, не разобравшись, раньше времени завопила в голос — ее остановили. Еще не подозревая дурного, несколько скорбящих завертели шеями, оглядываясь на музыкантов.

Мелодия между тем нарастала, становилась все более знакомой, бодрой, оживленной, и когда дошла до места, где во все четыре смычка музыканты грянули: «*Тореадор, смеле-е-е-е в бой!*», тему все узнали и вспыхнул скандал: ведущая церемонии замахала рукой музыкантам и выронила фанерный номерок, который следовало положить сразу на гроб; без этого он не опускался, музыка продолжалась *аллегро виваче*, скорбящие же, держа наготове платочки, сморкались и всхлипывали в полной растерянности, ожидая знака к началу рыданий.

Апофеоз оплакивания и скорби был, короче, безнадежно погублен!

Не в силах сдерживаться, я почти выбежал из траурного зала на улицу, надеясь там побороть приступы смеха, но увы, первое, что увидел на серой стене крематория — это грубо выведенное от руки черной краской объявление «**ВЫДАЧА НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ПРАХОВ**» и указующую стрелку — это было уже выше моих сил и, зажав рот, я в конвульсиях опустился на скамейку.

Из трубы крематория между тем выплывал, не спеша, сизый дымок; он остановился на фоне ослепительно-голубого неба и принял форму облачка, безошибочно напоминавшего пальцы, сложенные в непристойный жест. Я вдруг вспомнил, что кукиш дед называл по-киевски — *дуля*; вспомнил его веселое проклятье *саперлипопет!* — и дав себе волю, уже во все горло расхохотался.

Так дед и уплыл в лучший мир под смех своего любимого внука и будоражащий душу призыв: «Тореадор — смелее в бой!»

Привычке не раздумывая бросаться в драку с мрачной действительностью он, таким образом, остался верен до конца своих безумных дней.

Нью-Йорк, 2022–2024

Виктор Норд, теле- и кинорежиссер, драматург, продюсер (Израиль, США,). Родился в 1945 году в бывшем Советском Союзе.

Эмигрировал в Израиль из СССР в 1973 году после окончания с отличием Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).

Израильские фильмы и военные телерепортажи Виктора Норда переводились на многие языки и пользовались успехом в странах Европы и Америки. Наиболее известен благодаря режиссерской работе в художественном фильме под названием «ХаГан» с дебютанткой Мелани Гриффитс. Этот фильм представлял Израиль на Каннском фестивале в 1977 году (программа «Дебют—Плодотворное Око»), на Международном кинофестивале в Сан-Франциско, на Международном кинофестивале Вотерфронт в Торонто, и других.

С 1982 года Виктор Норд проживает и работает в Нью-Йорке. Ко-продюсер и редактор ряда телевизионных шоу Frontline–WGBH, среди которых *The Russians are Here* и *Captive in El Salvador*— последний был награжден двумя премиями ЭММИ в 1984 году. Режиссер диалога двенадцати серий шоу *The Comrades* (WGBH) и телефильма *Seven Days in May* (CBS). Виктор Норд является автором девяти сценариев мини-серий (2004–2018) (два из которых — совместно с писателем Джорджем Файфером).

В 2014 году выступил как автор, пишущий на русском языке, выпустив теле-роман «Непредвиденные последствия» («ЛУЧ», Москва 2014 г.)

Публикуется в журнале ВРЕМЕНА.



Герой нашей истории доктор Гольдберг в свое время с блеском защитил степень микробиологии в Швейцарии. Менторы прочили ему большую роль в исследовании вирусных эпидемий. Однако в Киеве, среди коллег, он более известен лишь своими вызывающе эксцентричными манерами. Это ставит его под удар властей, подозревающих евреев-медиков в злостных убийствах членов правительства. Только репутация полоумного чудака спасает доктора от ареста и гибели в застенках МГБ.

Лишь в самом конце книги мы узнаем, как удалось уцелеть строптивому доктору — что помогло ему пережить войны, эпидемии и припадки истерического антисемитизма, поразившие страну после победы над нацистами.



Ранение, контузия; тяжелое, легкое; огнестрельн.
(руж. пульей, шрапн., осколк. снаряда); холодн.
оруж., без поврежден. костей; черепа, лица,
шеи, груди, живота, спины, конечн.: верхней,
нижней.

Причина смерти

„Испанка“
Групп Эспаноле

ISBN 978-1-960533-55-5



9 781960 533555